

# Лев Додин: «БЕГ ЗА ЖИЗНЬЮ, КОТОРАЯ БЫСТРЕЕ ТВОЕГО ШАГА»

Еще десять лет назад его называли «подающим надежды». И очень не хотели назначить главным режиссером маленького областного театра. Между тем театр Льва Додина уже существовал: в учебных постановках (от «Братьев и сестер» до «Братьев Карамазовых»), в спектаклях, поставленных в ленинградском Малом драматическом и рассеянных по другим сценам (от Тюза до ВДТ и МХАТа). На основе того, вполне реального, хоть и не формализовавшегося до поры до времени театра, строил Додин свой театр-дом.

Сегодня ясно, что дом построен. Есть группа, не только лучшая в Петербурге, но и одна из лучших в Европе. Есть спектакли, знаменитые, вроде «Бесов», «Братьев и сестер», «Гаудеамуса», и не слишком. Есть успех у публики (своей и западной). Есть сложные отношения с критикой — восторг итальянской и французской сочетается с покровительственным тоном отечественной (в толстом журнале можно прочесть: «выкарабкивается из кризиса Л. Додин»). Есть «Русские сезоны» в Париже с тремя премьерами, успехом текущего репертуара. Есть гастроли по Великобритании, где публика жаждет познать феномен русского репертуарного театра.

Так встречает Додин не только пору зрелости Малого драматического театра, но и свое 50-летие.

— Как вы чувствуете себя в «Русских сезонах»? И чувствует ли Париж «Русские сезоны»?

— Что чувствует Париж, сказать трудно. А нам пока интересно. Был очень интересным сам процесс выпуска первого спектакля «Клаустрофобии». Мы это делали почти впервые. Хотя «Бесы» выпускали тоже не дома, а в Брауншвейге, но все-таки там степень готовности была больше, и короче был период выпуска. А в Париже первые две недели мы жили, не замечая, где живем: гостиница — автобус — театр — автобус — гостиница, куда возвращались поздно ночью...

— То есть жили, как тут.

— Как тут. Только дома чуточку полегче. Очень хорошо работала французская бригада: сошлись наш энтузиазм и их энтузиазм, мы встретили полное понимание. И самое главное — состоялся контакт со зрителем. Делаешь ведь, не думая о контакте. Делаешь для себя. И то, что тебе кажется важным. И счастливы, думая о себе, о партнерах, о тех, кто на площадке. А потом наступает момент встречи со зрителем, и хочется выбежать из зала, ибо может оказаться, что — ни для кого.

А тут контакт произошел. Это было ясно по реакции зала, по восприятию, в какой-то мере по статьям, которые там появились в самых крупных газетах. Мы к этому относимся еще чуть-чуть политически, потому что все-таки в России силен советский синдром, согласно которому важно не то, что написали газеты, иногда важнее, чтобы написали плохо, тогда только придет посмотреть. Так что реклама работает наоборот. А там они до наивности «законнослушны» в отношении газет и с вытаращенными глазами говорят: «Монд!» На первой странице! Но нам это тоже важно, потому что, с одной стороны, они понимают: все, что мы рассказываем, связано с Россией. С другой стороны, они поняли: все, что мы рассказываем, связано с чем-то универсальным. Имеет отношение ко всему человечеству.

— А не кажется ли ваш дом на Рубинштейна похожим на усадьбу Раневской: хозяева в Париже, касса закрыта...

— Нет. Усадьба Раневской разрушается, вишня родится раз в два года... А мы урожай



собираем регулярно. И на него пока спрос есть. И дом не стоит заброшенным, здесь идет огромная работа. Во всем этом обидно только одно, что нельзя одновременно гулять на трех свадьбах. Я говорю «на трех», потому что на двух мы все же гуляем: выступаем в Париже и непрерывно играем спектакли в Ленинградской области. Театр мы областной, и у нас есть обязательства, которые мы выполняем. Но на петербургской сцене параллельно играть не получается, и это, конечно, жаль. Но зато зритель, как только мы вернемся, получит сразу три премьеры, которые в сегодняшних условиях мы бы не сумели выпустить без поддержки партнеров.

— А вот если бы у вас была богатая «ярославская тетка», которая прислала бы кучу денег для вашей «усадьбы», отказались бы вы от Парижа?

— Было бы уверткой сказать, что дело только в финансовом положении. Просто так сходит, что нас это во многом поддерживает, спасает даже, дает возможность жить, ничего не меняя в наших воззрениях на дело, на театр, на то, как нам этим делом заниматься. Но сказать: дайте нам денег, и мы никуда не поедем — будет неправда. Когда мир раскрывается перед нами, не раскрываться ему навстречу просто глупо. Мир существует для человека, а человек существует для мира. Все, что мы миру можем дать, что он заинтересован от нас взять, — мы даем. Все, что мы можем от мира взять, мы должны брать. Потому что этим мы обогащаем себя, а потом отдаем нашим зрителям здесь. Я смотрю, как развиваются наши артисты, наши ученики. Я убежден, что такой интенсивности не могло быть в замкнутых условиях существования. Я бы ответил на ваш вопрос даже так: если бы нам очень сильно приплатили, мы бы от этого не отказались.

— Лев Абрамович, с тех пор, как ваш театр стал членом Союза театров Европы, вы бываєте не только на фестивалях, но и на официальных встречах. Например, зимой выступали в Страсбурге в Европарламенте. О чем вы говорили?

— Это была философско-культурологическая конференция о роли искусства в современном мире. Во всем мире, как и у нас, говорят об упадке роли искусства. С одной стороны, это связано с

масс-медиа, которыми из сознания зрителей вытесняется что-либо серьезное, нивелируется все самобытное. С другой стороны, это связано с кризисом, который испытала культура, не спасшая мир от Освенцима и ГУЛАГа. Это тезисы бродячие. Я говорил о том, что мир сейчас находится над пропастью. Не Россия, не Восток, а как мне кажется, мир. У меня полное ощущение, что в Европе это понимание очень плохо. Я стараюсь не лезть в политические дела, это не моя профессия, но это не общеполитическая проблема, это проблема жизни человека, а значит, и моей жизни. Мне кажется, что сегодня Европа глуха к тем кризисным моментам, которые существуют, к тем опасностям, которые нарождаются и в недрах России, и в недрах самой Европы. Когда живешь там сравнительно долго, то замечаешь, что слои цивилизации такой хрупкий. Мы привыкли: «Европейская цивилизация», а на самом деле достаточно малейшего удара, чтобы снести этот слой. И все очень рядом — цивилизация и дичь.

В одной пьесе про революционное время говорилось: «Сейчас нет женских болезней, сейчас все болезни общие». Так сейчас у мира все болезни — общие.

Я говорил об этом и еще о том, что сегодня искусство обязано давать возможность людям ощутить себя на краю. Должно не защитить, не увести в иллюзию, а снова заставить испытать нечто, что в обыденной жизни человек может и не пережить. Приподняться над собой, увидеть, что гайт в себе природа человека, к чему она сегодня гонит человечество. Посмотреть на себя как на создание Божье. Я убежден, что это и есть театр, литература, живопись, когда я вдруг взлетаю над собой и оцениваю то, что со мной происходит, с какой-то высшей точки зрения. Закончится спектакль, я отойду от картины и вроде как снова приземлюсь, но испытанное никуда не исчезает. Может быть, искусство ни от чего не спасает и ничего не меняет, но если мы все-таки вышли из Освенцима и из ГУЛАГа, а мы вышли, то тоже благодаря искусству.

Сегодня, может быть, мы вползаем снова в достаточно страшный период истории. Опять нужно сохранять ген человечности, который должен существовать в человеке наряду с огромным количест-

вом генов античеловечности. — И вас услышали в Европарламенте, как вам показалось?

— Потом, в Париже, многие пришли на «Клаустрофобию», даже крупные философы, которые обычно не ходят в театр, студенты, которые подходили и говорили, что они слышали меня в Страсбурге...

Хотя все это относительно. Мы сами должны слышать себя и не изменять себе. Снова и снова играть свою музыку. Конечно, радостно, когда ее кто-то подпевает, что у кого-то выступили слезы... Я пессимист, и знаю, что не так уж много может сделать театр. Но я оптимист, потому что верю: что-то он может сделать.

— «Русские сезоны» вы завершили чеховской премьерой. Почему именно «Вишневый сад»?

— Мы сегодня живем в момент ухода целой эпохи. И как бы ни ожидали наступления нового времени, мы все равно люди той жизни, которая кончается. И с уходом той жизни уходит огромная часть нашей собственной.

Очень понятно, что испытывают люди Чехова. Только, если у Чехова все было красиво — усадьба, амфир... то у нас... Мы с Эдуардом Степановичем Коцержинским работали над макетом в Рошине, много бродили по тем местам. Я очень люблю Рошину, там прекрасный пейзаж, но все, что было построено там за послевоенные годы, — ужасно. Советский поселок — он такой некрасивый. Даже самые богатые дачи — нищенские. Все тронут тленом, все разрушается, чернеет... И рядом вдруг начинает строиться дом из красивого финского кирпича. И когда ходишь и сморишь на все это, особенно в белые ночи, — это такое бесконечно грустное ощущение. При том, что новое время приветствует. Это человеческая жизнь. И другой не будет.

Бег за жизнью, которая быстрее твоего шага, которая есть секунда, мгновение, а еще хочется столько испытать!.. Раневскую от Ани так немного отделяет, у нее еще все впереди, у нее природа чувств — Анина. А Ане кажется, что у нее все — позади. Как нам всем кажется в 17 лет. Так все соединяется, и так все путается.

Чеховская поэтика все время заставляет ощущать цену жизни. Он сам-то прожил всего ничего, а нам кажется, что он написал так много, жил долго и умер, подобно Льву Толстому в глубокой старости. А когда подумаешь, что в 27 лет он написал «Скучную историю», то волосы встают дыбом! Кажется, что это написал человек, который прожил бог знает сколько лет.

— Спорите ли вы с Чеховым в жанровом отношении? Что это — комедия или драма?

— Это очень условно: комедия — не комедия. Конечно, там много человечески забавного. Человек вообще забавен, а когда он живет безоглядно, он забавен втройне, впятеро. Поэтому я не против смешного в нашем спектакле. Кроме самого спектакля.

Сама очень трудная улавливаемая природа Чехова — на грани эксцентрики, трагикомедии, смешного сквозь слезы. Только это понимается часто вульгарно. И драма понимается вульгарно, и эксцентрика. Станиславский говорил, что эксцентрик — это правда, доведенная до предела. Просто Чехов ее доводит до предела — и все со всем соединяется. Конечно, надо быть конгениальным, чтобы в такой же мере все со всем соединить. Нам хочется хоть что-то с чем-то соединить.

Беседу вела  
Елена АЛЕКСЕЕВА.